

М.Аркадьев

СЛАДКОЕ БЕЗМОЛВИЕ МИРА ИЛИ АРХЕ-ЗАБВЕНИЕ

Уснуло все. Спят реки, горы, лес.
Спят звери, птицы, мертвый мир, живое.
Лишь белый снег летит с ночных небес.
Но спят и там, у всех над головою.
Спят ангелы. Тревожный мир забыт
во сне святыми - к их стыду святому.
Геенна спит и Рай прекрасный спит.
Никто не выйдет в этот час из дому.
Господь уснул. Земля сейчас чужда.
Глаза не видят, слух не внемлет боле.
И дьявол спит. И вместе с ним вражда
заснула на снегу в английском поле.
Спят всадники. Архангел спит с трубой.
И кони спят, во сне качаясь плавно.
И херувимы все -- одной толпой,
обнявшись, спят под сводом церкви Павла.
Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.
Все образы, все рифмы. Сильных, слабых
найти нельзя. Порок, тоска, грехи,
равно тихи, лежат в своих силлабах.
И каждый стих с другим, как близкий брат,
хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.
Но каждый так далек от райских врат,
так беден, густ, так чист, что в них -- единство.(...)

Спят беды все. Страдания крепко спят.
Пороки спят. Добро со злом обнялось.
Пророки спят. Белесый снегопад
в пространстве ищет черных пятен малость.
Уснуло все. Спят крепко толпы книг.
Спят реки слов, покрыты льдом забвенья.
Спят речи все, со всею правдой в них.
Их цепи спят; чуть-чуть звенят их звенья.
Все крепко спят: святые, дьявол, Бог.
Их слуги злые. Их друзья. Их дети.
И только снег шуршит во тьме дорог.
И больше звуков нет на целом свете.

И.Бродский Большая элегия Джону Донну

«... видимо, только язык может подвергаться истинно научному исследованию, объясняющему способ его формирования и предусматривающему некоторые направления его последующего развития. Эти результаты были достигнуты благодаря фонологии, которой в известной мере удалось выявить объективные реальности, выйдя за пределы сознательных исторических манифестаций языка, всегда остающихся поверхностными. В отличие от них реальность, изучаемая в фонологии, представляет собой системы отношений, являющиеся продуктом бессознательной умственной деятельности.»

К.Леви-Строс

Книга В.И. Молчанова "Различие и опыт: феноменология неагрессивного сознания", которую я считаю самым значительным событием отечественной феноменологии со времен выхода «Смысла и значения» Г.Шпета, явилась для меня серьезным поводом и вызовом для решающего анализа «микроструктуры» лингвистической катастрофы.

Начинается книга с довольно необычного, но важного в нашем контексте примера и рассуждения:

«В романе Колина Уилсона *Паразиты сознания* (1967) группа специально отобранных людей, прошедших ускоренную подготовку по феноменологии Гуссерля, вылетает в открытый космос, чтобы...осуществить тем самым радикальную феноменологическую редукцию. Только так можно избавиться от страшной болезни сознания, поразившей человечество.

Как радикальный мыслитель, Уилсон предлагает излечить страшную болезнь сознания радикальными средствами. Если принять эту метафору болезни -...то все же следует признать, что болезнь сознания не одна, болезней у сознания много...»

Как видим, автором решительно вводится тема "болезни сознания" (со ссылкой на неизвестный мне роман Уилсона) - тема одна из ключевых в истории новоевропейской мысли. Для целей обсуждения обозначу эту историческую линию пунктирно и нестрого, только для контекста.

Паскаль. Тут важны не только его знаменитые рассуждения о мыслящем тростнике, но и активно обсуждаемое современной аналитической философией «пари Паскаля», которое легко переформулировать в "парадокс самооглушения": «Интеллект не может быть точно убежден в спасении и бессмертии души. Следовательно, во имя бессмертия и спасения, мы должны поглупеть», или в еще одной формулировке: «Интеллект допускает возможность как существования, так и несуществования Бога, следовательно, ради спасения и Бога лучше пожертвовать интеллектом».

Я полагаю, что этот парадокс не только вариация на псевдо-тертуллианово «Credo quia absurdum», но и задает тему опыта сознания и его деформации.

Гегель. "Несчастное сознание". Это понятие надо иметь в виду, учитывая специфические гегелевские нюансы, которые, кажется, близки В.И. Молчанову, так как Гегель говорит о несчастном сознании, как о "деформированном" сознании, а не о сознании как таковом.

Достоевский. Рассуждения в Дневнике писателя о том, что, возможно, **все** проблемы человека заключаются именно в наличии сознания как такового, безразлично к оценке того или иного его "качества". Буквально "страшная болезнь сознания", почти как у Уилсона, но Достоевский серьезно учитывал возможность его принципиальной неизлечимости.

Наконец, неожиданные, но показательные для нашей проблемы (и для контекста "научной фантастики", введенном самим Молчановым) рассуждения выдающегося физика *И.Шкловского* в посмертно опубликованном послесловии к его книге¹, где он пытается объяснить *полную безрезультатность* одного из дел своей жизни, 25-летних советско-американско-европейских экспериментальных поисков информационных следов внеземных цивилизаций.

¹ Шкловский И.С. Вселенная, жизнь, разум. - М.: Наука: 1984

Объяснение Шкловским этого неожиданного факта следующее: по его гипотезе, которую он считает единственно разумной в этой ситуации, *разум, сознание как таковое аэкологично* ("страшная болезнь"), и является характеристикой *любой возможной* цивилизации любого биологического типа, и именно это, с его точки зрения, приводит к необходимости ресурсно-информационного "закукливания" цивилизаций во имя выживания.

Это происходит в связи с неизбежностью возникновения глобальных экологических проблем и необходимостью их радикального решения. Не до открытого космоса, и не до посланий иным мирам, так сказать, хватило бы на простое выживание. Вот последняя страница его драматичного «завещания»:

«Молчит Вселенная, не обнаруживая даже признаков разумной жизни. А могла бы! Ведь должны же быть, например, у сверхцивилизаций мощные радиомаяки. Можно утверждать, однако, что в соседней галактике М 31, насчитывающей несколько сот миллиардов звезд, ничего подобного нет.

«Молчание» космоса² представляет собой важнейший научный факт. Он требует объяснения, так как находится в очевидном противоречии с концепцией неограниченно развивающихся могучих сверхцивилизаций. Таким образом, проблема «внеземных цивилизаций» оказалось как бы «перевернутой». Представлялось, что мы имеем дело с задачей о «поиске иголки в стоге сена». В действительности дело сводится к задаче о «шиле в мешке». Самое простое, можно сказать, тривиальное объяснение феномена «молчащей вселенной: сверхвысокоразвитых внеземных цивилизаций в ближайших окрестностях Большой Вселенной (например, в Местной системе галактик) просто нет.

Даже при широкой распространенности феномена жизни во Вселенной это вполне возможно. Нужно только сделать естественное предположение, что в процессе эволюции жизни искомые сверхцивилизации либо не реализуются совсем, либо в силу внутренних причин своего развития (например, неизбежного разрушения породившей их биосферы) имеют очень малое время существования.

Если мы придерживаемся вполне единственного взгляда, что разум есть одно из «изобретений» эволюционного процесса, то не следует забывать, что не все «изобретения» в конечном счете, являются полезными для данного вида. Природа слепа, она действует ощупью, методом «проб и ошибок». И вот оказывается, что огромная часть «изобретений» не нужна и даже вредна для процветания вида. Так возникают «тупиковые ветви» на стволе дерева эволюции. Количество таких ветвей неимоверно велико. По существу, история эволюции жизни на Земле – это кладбище видов. Характерным признаком эволюционного тупика некоторого вида служит гипертрофия какой-нибудь функции, приводящая к прогрессивно растущему нарушению гармонии.

Вспомним чудовищно гипертрофированные средства защиты и нападения (рога, панцири и пр.) у рептилий мезозоя. Или, например, неправдоподобно развитые клыки саблезубого тигра. И невольно напрашивается аналогия: а не являются ли современные гипертрофированные в высшей степени противоречивые «применения» разума у вида *Homo Sapiens* указанием на грядущий эволюционный тупик этого вида?

Другими словами, не является ли самоубийственная деятельность человечества (чудовищное накопление ядерного оружия, уничтожение окружающей среды) такой же гипертрофией его развития, как рога и панцирь какого-нибудь трицератопса, или клыки саблезубого тигра? Наконец, не является ли тупик возможным финалом эволюции и разумных видов во Вселенной, что естественно объяснило бы ее молчание?

² Сразу оговорю, что «молчание» космоса в статье Шкловского не имеет никакого отношения к «безмолвию» Молчанова. Но нельзя не обратить внимание на забавную аллитерацию: «безмолвие-«молчание»-Молчанов

Став на точку зрения, что разум – это только одно из бесчисленных «изобретений» эволюционного процесса, да к тому же не исключено, приводящее вид, награжденный им, к эволюционному тупику, мы, во-первых, лучше поймем место человека во Вселенной, и, во-вторых, объясним, почему не наблюдаются космические чудеса. А это совсем не мало...

Альтернативой набросанной выше отнюдь не «оптимистической» концепции выступает идея, что разум есть проявление некоего нематериального, трансцендентного начала. Это – старая идея бога и божественной природы человеческого разума. Далеким (и не всегда далеким) от науки индивидам эта концепция представляется куда более оптимистической и даже нравственной. Трудно, однако, в наше время стоять на позиции, ничего общего с наукой не имеющей.»

Заметим, что эти примеры делятся на две группы: в отличие от Уилсона и Гегеля, Паскаль, Достоевский и Шкловский видят проблему не столько в «деформации» некоторого предположительно «хорошего» сознания, сколько в *самом сознании* (или «интеллекте» по Паскалю), которое рассматривают как некую фундаментальную деформацию.

Молчанов определенно и резко вводит эту тему «сознания-как-болезни» в качестве первой и базовой «темы-приманки», но сразу осуществляет изящное, почти незаметное, но ключевое для всей его стратегии "переключение": "...болезнь сознания не одна, болезней у сознания много...".

Это переключение, в том числе грамматическое (с "болезни сознания" на "болезни У сознания") симптоматично и вскрывает основную «игру» Виктора Игоревича с самим собой (вспоминая схему психологической игры у Э.Берна: «приманка-переключение-расплата»).

В качестве «расплаты» здесь обнаруживается некая внелогическая, экзистенциальная, иногда явная, но, что важнее, часто и неявная презумпция не только данного исследования, но, вероятно, и разума Молчанова в целом. Речь идет о *презумпции фундаментальной неагрессивности, «хорошести» сознания*, как опыта различения, точнее как опыта *различения различий* (это самореферентное удвоение принципиально важно).

При этом сама феноменология, почти как у Уилсона (только профессионально и тонко) мыслится Молчановым как некая аналитически-дескриптивная терапия деформаций, «болезней» внутри «хорошего» первичного опыта сознания, который, к тому же аналогичен структуре различий в мире вообще.

Гипотеза, что само человеческое сознание, сам опыт различения различий можно рассматривать как некую фундаментальную «онтологическую» и, пока существует homo sapiens sapiens *принципиально неизлечимую* деформацию, Молчановым не рассматривается. Вернее, эта гипотеза является, как я хочу показать, предметом латентной полемики философа с самим собой, а там где, эта полемика становится явной, затрагивает уровень поверхностных тактик и стратегий, выраженных Молчановым в вопросе «можно ли избавиться от сознания с помощью самого сознания?»

Самореферентный термин «различение различий» является ключевым для речевой стратегии автора. Интересно, однако, что в личном разговоре В.И. затруднился назвать структуру "различения различий" самореферентной, вопреки своему тексту, и очевидной грамматической

форме, подчеркивая не самореферентность, а иерархичность этого отношения, о чем еще будет разговор.

С самого начала определю свою позицию. *Презумпция неагрессивности сознания как различения*, с моей точки зрения, функционально и структурно эквивалента *презумпции тождества*, которую деконструирует Молчанов у Гуссерля. Она выражена автором в последнем абзаце Введения, помещенном также и на суперобложку издания, что свидетельствует об особой важности этого, несомненно, красивого пассажа:

"Различение, в отличие от синтеза и идентификации никому ничего не навязывает, никого не угнетает, никого ни с кем и ни с чем не уравнивает. Различение как бы идет нам навстречу, но не сталкивается с нами и не проходит мимо, а в безмолвии и благожелательности открывает нам дальнейший путь различений".

Обратим внимание, кроме всего прочего, на возникший почти незаметный, но важный и нуждающийся в анализе мотив *благожелательности и "безмолвия"* (бессловесности). Это ключевой онтологический поворот и акцент Молчанова, позволяющий ему вписать опыт различия в безмолвие саморазличающегося мира.

Кроме всего прочего, здесь прослеживается некая важная связь с мотивами восточных и западных практик молчаливности (к чему забавным образом обязывает и фамилия философа), а так же с «антисократическими» и «антиисторическими» мотивами у Ницше, а также, вероятно, с ранним Витгенштейном. Но тактика Молчанова совершенно оригинальна, и, несомненно, является самостоятельным философским событием.

стр.10 «Болезни сознания – это деформации опыта, упрочивающие себя в качестве нормы. Одна из основных таких болезней, если не основная болезнь нашего времени, – это болезнь-к-синтезу, болезнь-к-функции, устремленность к функциональному единению. Эта болезнь требует дескриптивного лечения....»

Ключевыми для Молчанова являются темы, обозначенные как *"деформация опыта"*, *"болезнь-к-синтезу"*, *"устремленность к функциональному единению"*. Тут же предлагается способ "лечения" путем чистой аналитики опыта.

Презумпция неагрессивности опыта различения различений, кроме всего прочего, указывает на не вполне осознанные автором реликты руссоистского оптимизма в оценочной шкале. Неявно предполагается, что первичное сознание, да и, следовательно, вообще человек, «по природе» добры, не агрессивны. Агрессия же – это так, аномалия, болезнь тяжелая, но, в принципе, поддающаяся излечению. Если, конечно, как следует аналитически, дескриптивно (так, как понимает аналитичность феноменология Молчанова) поработать и достичь «естественного» благожелательного безмолвия опыта различий.

Я хочу обратить внимание, кроме всего прочего, на недостаточную проясненность проблемы "агрессивное"- "неагрессивное" в текстах Молчанова. Это различие должно быть подвергнуто более подробному различению. Как мне представляется, эта оппозиция может и должна быть релятивизирована. Необходимо, следуя аналитической тактике самого Молчанова,

задавать *фон*, относительно которого можно так, или иначе, на том или ином уровне, говорить об агрессивности или неагрессивности.

Вторая, тесно связанная с предыдущей, но, может быть главная моя задача, это показать, что существует тема, фактически обойденная серьезным вниманием в книге, в то время как именно она является ключевой в истории и структуре вопроса. Это **тема языка, опыта языка, языкового опыта, специфики человеческой языковой деятельности.**

В том же частном разговоре Виктор Игоревич прямо так и спросил: «А разве можно вообще говорить о первичном опыте языка?» Эта позиция, с моей точки зрения, не случайна и непосредственно относится к мотиву «безмолвия», а также к заданной самим автором проблеме "можно ли избавиться от сознания с помощью самого сознания", которую, по моему убеждению, необходимо переформулировать в "можно ли избавиться от языка с помощью и средствами самого языка?".

Здесь одной из центральных является проблема самореферентности, рефлексивности сознания как опыта различения различий. Она задается Молчановым, так сказать, "аксиоматически", как "естественная" структура опыта. Но неизбежен вопрос: почему опыт сознания самореферентен? Разве является тот опыт различия, который общ нам с животными самореферентным?

Я исхожу из предположения, что самореферентность опыта, то есть различение различий специфичен только для человека, и не является "естественным" продолжением базового опыта «безмолвного» различия, общего нам и природе. Речь идет о гипотезе Молчанова об опыте различия как универсальном опыте живого.

Стр.148 «Речь должна идти...об опыте..., который является первичным опытом сознания, или, если не угодно слово «сознание», просто первичным человеческим опытом, да и первичным опытом живых существ вообще. Таким опытом является многообразие различений, которое всегда так или иначе выступает как определенная иерархия.»

Другими словами основной вопрос может быть сформулирован таким образом:

КАК ВОЗМОЖЕН ОПЫТ РАЗЛИЧЕНИЯ РАЗЛИЧИЙ, опыт самореферентности, который и есть опыт сознания?

Однако, в личном разговоре Молчанов, как я уже упомянул, удивился связи между темой различия и темой самореферентности, сказав, что дело не в самореферентности, а в иерархичности. На что я сказал, что как раз тема самореферентности первичного опыта серьезно затронута в его книге.

Сейчас я перечислю все эти места, но хочу сразу сказать, что иерархичность, как принцип, слишком «пространственна», и потому скорее «интерпретативна», чем «аналитична», и как-то тяжеловата для первичного опыта. Кроме того, иерархичность в принципе допускает отношение уровней разной логической природы. Пользуясь различием Молчанова, подчеркну: принцип иерархии скорее интерпретативен, чем аналитичен.

Требованию многоуровневости и одновременно аналитичности соответствует, с моей точки зрения, именно самореферентность, самоотнесенность, она же рефлексивность сознания. И, наконец, иерархичность иерархичности рознь. Вопрос не вообще об иерархичности, но именно о специфическом, особом виде самореферентной иерархичности.

Самореферентность у Молчанова:

стр 32. "Поиски первичного парадигматического сознания - это не поиски новой субстанции, но попытка выявить первичный опыт сознания, который сочетал бы в себе самореферентность и многообразие".

стр 69. "Этот опыт Хайдеггер, как известно, назвал Заботой, показав его самореферентность..."

стр 72. "...воздержание от опыта синтеза и идентификации и обращение не только к самореферентному, но и к многообразному первичному опыту сознания, как опыту различия".

стр.74 "В размышлении о понимании сознания мы входим в область самореферентного опыта, не отсылающего к другому опыту".

стр.91 рассуждения о самоотнесенности у Декарта и ее эгологическом акценте.

стр.179 "можно ли обнаружить самождественное значение и его самореферентный источник с помощью тождеств?"

стр 299 "В этом смысле различение самореферентный (хотя и не замкнутый) опыт."

стр.301 "Акцент на различении (первичный из всех передних планов) выделяет опыт в собственном смысле, его самоотнесенность (любое различение - это различение различий), то, что можно было бы назвать первичным самосознанием;"

Если я не ошибаюсь, аналитическая тема самореферентности была вытеснена в процессе написания книги интерпретативной темой иерархичности. По крайней мере, на первых ста страницах она встречается чаще, чем на последующих двухстах.

Итак, основные для нас проблемы и темы: тема различия и различения, тема различения различий и различений, тема агрессивности-неагрессивности, тема самореферентности.

Что не учитывает, более того, *игнорирует* Молчанов, так это предположение, что сознание как таковое, а не его деформация, *уже* может расцениваться в некотором смысле как некая первичная деформация, и поэтому распространенный мотив "страшной болезни сознания", то есть самого сознания КАК БОЛЕЗНИ совсем не случаен.

С самого начала оговорю, во избежание недоразумений, что мне близки большинство стратегий, интенций, интуиций, анализов и оценок автора "Различения и опыта". Спор идет о некоторых онтологических и логических нюансах. Но, как всегда, нюансы определяют слишком многое, чтобы ими можно было пренебречь.

Вопросы, на который не дает ответ Молчанов на протяжении всей книги, вопросы, которые неизбежно возникают из его аналитической стратегии, но почему-то самим автором так и не формулируются, это:

1. ОТКУДА ВООБЩЕ ВОЗНИКАЕТ КОНСТАТИРОВАННОЕ ИМ «ГРЕХОПАДЕНИЕ В ТОЖДЕСТВО», СТРЕМЛЕНИЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОЗНАНИЯ? В ТОМ ЧИСЛЕ, СРЕДСТВАМИ САМОГО СОЗНАНИЯ?

2. ПОЧЕМУ ТАК РАСПРОСТРАНЕНА «БОЛЕЗНЬ К СИНТЕЗУ?»

3. ПОЧЕМУ ГУССЕРЛЬ, СКАЖЕМ, НЕ МОЖЕТ, ИЛИ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НЕ ХОЧЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРЕЗУМПЦИИ ТОЖДЕСТВА?

4. ПОЧЕМУ ПРЕЗУМПЦИЯ ТОЖДЕСТВА И БОЛЕЗНЬ К СИНТЕЗУ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ПРОСТО БОЛЕЗНЯМИ, А ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ПАНДЕМИЯМИ?

5. ОТКУДА У ЧЕЛОВЕКА ЭТО СТРЕМЛЕНИЕ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО - ПРОЧЬ ОТ ОПЫТА СОЗНАНИЯ, ОТ ОПЫТА РАЗЛИЧЕНИЯ РАЗЛИЧИЙ, **ПРОЧЬ ОТ РАЗЛИЧИЯ?**

Что же не учитывает Молчанов в своем тонком, пристальном, во многих отношениях безукоризненном исследовании? Какие различия, и какие собственные неявные идентификации и синтезы ускользают от его внимательного взгляда?

Я полагаю, что он игнорирует, и это симптоматично в том же смысле, в каком симптоматична презумпция тождества у Гуссерля, принципиальный РАЗРЫВ³, который происходит при переходе от пусть иерархичного, но простого и «безмолвного» опыта различия, общего нам с животным миром, к опыту специфически человеческому - самореферентному языковому опыту различения различий.

Между этими двумя видами опыта существует некая радикальная грань, а именно грань «безмолвия», перейти которую удалось только человеку⁴. Грань эта связана с обретением человеком языка. Языковая деятельность, человеческий «естественный»⁵ членораздельный язык - вот то *единственное, что продуцирует в человеке иерархический опыт сознания*, самореферентный опыт различения различий.

³ Тема базового разрыва неожиданным образом возникает там, где ее меньше всего можно было бы ожидать, а именно в рамках аналитической философской традиции, в книге Дж. Серля «Рациональность в действии»», М.2004.: «...операция рациональности предполагает разрыв между множеством интенциональных состояний, на основе которых я принимаю свое решение, и действительным принятием решения. ...Этот разрыв имеет свое традиционное название – «свобода воли». С28. На первый взгляд кажется, что Серль говорит о другом разрыве, но при внимательном чтении оказывается, что речь идет о том же феномене.

⁴ Существенно, что обратный переход уже невозможен, *если* эта грань перейдена. Словечко "если" отсылает нас к тем, уже не раз упоминавшимся, редким, но репрезентативным случаям "реальных маугли", когда ребенок попадает в самом раннем возрасте к животным и, в отличие от киплинговского Маугли, более никогда не становится в полной мере человеком.

⁵ Важен парадокс этой «естественности», парадокс самого понятия «естественный» язык.

Смысл моего высказывания заключается в утверждении того, что сознание как различие различий является (пользуясь выражением, критикуемым Молчановым) *эффектом языка*. Только благодаря уникальной, единственной в своем роде структуре языковой деятельности стал вообще возможен как самореферентный, так, если угодно, и иерархический опыт сознания.

Не язык используется, как это принято думать, неизвестно откуда взявшимся «априорным» сознанием для выражения опыта различий, а, наоборот, сам специфический опыт сознания-различения есть опыт возможный *только и исключительно благодаря языку, и «APRIORI DISTINCTIONIS» есть ни что иное, как «APRIORI LINGUISTICUS».*

Вводя «языковое априори», я отклоняю упрек в попытке «избавиться от сознания средствами самого сознания». В этом отношении я вполне следую тактике В.И. Молчанова, и сохраняю термин сознание, с уточнением того, что речь идет именно об опыте различения различий. Мое принципиальное дополнение к Молчанову заключается в том, что этот опыт является *опытом языковым*. СОЗНАНИЕ (в отличие от мышления⁶) ЭТО И ЕСТЬ ОПЫТ ЯЗЫКА. Все, что говорится Молчановым о сознании, относится к языку.

Более того, осмелюсь утверждать: ***Nihil est in conscientia quod non prius fuerit in lingua/oratione***⁷. **"Нет ничего в сознании, чего не было бы раньше в языковой деятельности" (то есть в системе речь+язык).**

Именно поэтому я считаю сознание не аксиомой, а теоремой. Именно поэтому философия сознания может быть предметом деконструкции. Это касается всех основных тем, связанных с сознанием, что я и попытаюсь показать: темы различия, темы различения различий, темы самореферентности, темы рефлексивности-нерефлексивности, тетичности-нететичности, темы нормы-деформации, агрессивности - неагрессивности, и т.д.

Очень важно понять, что «сведение» к языку – по существу никакое не сведение и НЕ РЕДУКЦИЯ, и не есть ни упрощение, ни очередная попытка избегания сложности. Дело обстоит прямо наоборот. Именно обращение к языку, к его сложнейшей различительной и самореферентной структуре дает возможность с достойной предмета серьезностью и подробностью говорить о структуре сознания и различения. Напротив, попытка игнорировать языковую структуру приводит к упрощению, редукции предмета и поспешным генерализациям.

Чтобы не быть голословным, мне придется попросить у читателя терпения для того, чтобы осуществить вместе с ним «лингвистический поворот», и ввести в наше обсуждение профессиональный лингвистический голос⁸. Подключение лингвистического голоса требуют

⁶ Я исхожу из хорошо подкрепленного биологическими и антропологическими исследованиями положения, что мышление, некие первичные интеллектуальные и образные (эйдетические) операции принадлежат к «ментальному пластику», общему людям и животным.

⁷ Вариация на локковское: *Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu* (Нет ничего в уме, чего бы раньше не было в ощущениях).

⁸ В отличие от более распространенного «общефилологического», впрочем, не спорю, вполне respectableго голоса.

отнодь не столько личная стратегия и пристрастия автора этих строк, сколько исследовательская и философская честность.

Невнимание (или поверхностное внимание, что одно и то же) нашего философского сообщества (если предположить, что таковое существует) к ключевым лингвистическим текстам и проблемам в их тонкой и сложной *профессиональной* специфике, является удручающим⁹.

Я подробно, так как иного пути нет, обращусь к цитированию некоторых базовых текстов выдающихся профессиональных лингвистов 20 века, прежде всего текстов Р. Якобсона, который не нуждается в представлении, однако прочитан недостаточно внимательно. Эти тексты прямо или косвенно затронули темы, связанные напрямую с проблемой сознания и различия.

И не просто затронули, а, как я попытаюсь показать, радикально и необратимо *изменили* (независимо от того, было ли это понято кем-то, или нет) *сам способ постановки как классических, так и неклассических проблем сознания.*

Прежде всего, обратимся к основной теме В.И. Молчанова – теме различения, различия. Для Молчанова важна тема борьбы и взаимодействия между « deskрипцией» и « интерпретацией», между, соответственно, « аналитикой опыта» и деформацией опыта.

Несомненно, в некотором отношении это противоречие было в свое время актуально и для лингвистической мысли, недаром одной из основных характеристик новой лингвистики стала ее дескриптивность¹⁰, строго отличаемая и от философско-интерпретативного языкознания, и от эмпирической фонетики и акустики, и от исторической лингвистики 19 в. (младogramматики). Впрочем, пока это только уточняющая реплика вскользь.

Важно, что тема аналитики у Молчанова принципиально ограничена тем, *как* он понимает сам аналитический опыт. Я рискну высказать предположение, что его понимание аналитики опыта в некотором отношении « *наивна*».

Если уж становиться на путь аналитики, то необходимо идти по нему последовательно, и, по возможности до конца. И здесь оказывается недостаточно тех *средств* анализа, какими пользуется Молчанов, опираясь на модель аналитики, которая предложена гуссерлевской феноменологией в 1 томе «Логических исследований», как, впрочем, и вообще феноменологией, как менталисткой и именно поэтому в определенном смысле « *наивной*» стратегии.

Наивность этой стратегии заключается в том, что опыт сознания, опыт различия рассматривается не только как « *априорный*» первичный опыт, но и как опыт *очевидности*, или *самоочевидности*, вследствие чего как раз реальная сложность и уникальность этого опыта оказывается не достаточно хорошо *увиденной*.

⁹ Здесь не имеется в виду « философия лингвистического анализа», о ней – отдельный разговор, хотя и к ней могут быть обращены в большой степени те же упреки.

¹⁰ См., например Глисон Г., Введение в дескриптивную лингвистику, пер. с англ., М., 1959;

Иначе говоря, я попытаюсь показать, что *презумпция (само)-очевидности*, лежащая в основе любого феноменологического описания, закрывает возможность *увидеть*, как на самом деле устроен опыт сознания и опыт различия. Картезианско-гуссерлевской трансцендентальной «оптики» здесь оказывается принципиально недостаточно. Феноменология, если проводить лингвистические аналогии, в этом отношении ближе к фонетике, чем к фонологии.

Необходимо сменить оптику и отказаться от презумпции классической очевидности, полностью аналогичной, между прочим, презумпции «наглядности», доминировавшей в картезианской и лапласовской и даже эйнштейновской физике вплоть до создания Бором и Гейзенбергом оснований квантовой теории.

Методологический поворот, осуществленный копенгагенской физической школой по отношению к классической картезианской физике «наглядности»¹¹, совершенно аналогичен повороту, осуществленному пражской школой в лингвистике по отношению к психологизму и позитивизму языкознания 19.-нач.20 вв.

И этот принципиальный поворот плохо осознан философией сознания как радикальный, ключевой для самой темы сознания¹².

Отвечая на возможные возражения, подчеркну, что дело здесь уже не в принципиальном различии между методом философским и методом научным. Во-первых, не случайно сам Гуссерль мыслил феноменологию как «строгую науку», во-вторых, переворот, произошедший в науке первой трети 20 века, снимает многие «классические» различия между основаниями естественнонаучными и основаниями философскими, что было хорошо осознано упомянутыми ключевыми фигурами копенгагенской физической школы.

Сюда же примыкает и методологическая рефлексия основателей структурной лингвистики. Соссюр положил этому начало, но ключевыми фигурами здесь были создатели фонологии Р.Якобсон и Н.Трубецкой.

Обратимся же непосредственно к теме различия, теме, которая должна быть решительно пересмотрена и уточнена в связи с открытиями лингвистики первой половины 20 в. Главный момент, на который необходимо обратить внимание заключается в том, что *различие, различение, различание, различие различий не обладают простой самоочевидной и «наглядной» структурой. Эта структура сложнее и тоньше, чем та, которая открывается в интроспекции и в феноменологическом дескриптивном «усмотрении».*

¹¹ Чрезвычайно важно помнить, что «наглядность» в картезианской науке, то есть «классическая» наглядность классического разума, это именно «трансцендентальная» наглядность, строящаяся на галилеевском принципе *мысленного идеального эксперимента*.

¹² Еще раз подчеркну, что один из инициаторов этого антипсихологизма в языкознании является как раз Гуссерль, о чем говорит в том числе цитируемый далее Р. Якобсон. Важно, где именно остановился автор «Логических исследований» в данном вопросе.

Другими словами сознание как различие не трансцендентально, а лингвистично. И для описания его структур уже недостаточно метода феноменологической дескрипции, а необходима дескрипция другого типа.

Тема эта постоянно звучит как основная в описании и обосновании *фонологии*, которая, собственно, и превратила лингвистику в *строгую науку*. Лингвистика как строгая наука является ключевой для феноменологии и вообще философии, занимающейся проблемами сознания, так как она имеет дело с парадоксальной самореферентной структурой языка, удерживая и подчеркивая как раз те особенности языка, которые являются определяющими при разговоре о сознании.

Только услышав, расслышав этот голос строгого лингвистического анализа¹³, у нас есть шанс увидеть, какова же глубинная структура и специфика человеческого различения. Без обширных цитат и их анализа не обойтись.

Вот основные рассуждения по этому поводу в программных лекциях Р. Якобсона «Звук и значение»¹⁴:

«Большая заслуга Соссюра состоит в том, что он понял, что *мы, сами того не сознавая, уже* имеем представление о значимости акустических данных, когда, изучая акт фонации, сталкиваемся с фонетическими единицами...» (стр. 35-36)

«...Мензерат и его коллега из Португалии Армандо Ласерда, показали, что речевой акт – это постоянное, безостановочное движение...*все звуки являются переходными*.(...) Если рассматривать речевую цепочку только с артикуляционной точки зрения, то вообще нельзя говорить ни о какой последовательности *звуков*. Звуки не следуют друг за другом, - они переплетаются друг с другом: артикуляция звука, который по акустическим впечатлениям следует за некоторым другим звуком, может происходить одновременно с артикуляцией последнего или частично даже до нее». (стр.36)

«Невозможно построить классификацию звуков, более того, *невозможно даже правильно описать различные артикуляции*, не решив вопроса об акустической *функции* того или иного артикуляционного движения». (стр.38)

«В рамках акустики, так же как и в артикуляционной фонетике, *мы не в состоянии сориентироваться в этом хаосе*, мы не можем выявить значимые, существенные свойства звука... Такая ситуация является критической не только для инструментальной акустики, но и для любой транскрипции, сделанной **на слух**, поскольку транскрипция текста опирается только на слуховые впечатления. Мы проходим от акта фонации к *звуку* как таковому и от звука к значению! И тут мы покидаем область фонетики, научной дисциплины, изучающей звуки только с артикуляционной и акустической точек зрения, и вступаем в область фонологии...

В своих лабораториях ученые-эмпирики расчленили звуковые средства языка на множество микроскопических данных,...сознательно забывая об их назначении, о цели их существования. ...специалисты в области стихосложения того времени утверждали, что поэзию можно изучать, только забыв язык, на котором говорил поэт... Отталкивающая картина хаотического скопления признаков... Фонология, по словам выдающегося французского лингвиста Антуана Мейе, «избавила нас от некоего кошмара, долго довлевшего над нами» (стр.40-41)

¹³ Это надо сделать сознательно и более радикально, чем Гуссерль, несомненно, сам отошедший от позитивизма и психологизма до-структуральной стадии в языкознании.

¹⁴ Р. Якобсон Избранные работы М. 1985. стр.30-91

«...мы хотим найти языковой квант, то есть выделить минимальный звуковой элемент, наделенный значением.»
(стр.42)

«В связи с этим я позволю себе сравнить два несложных предложения – одно на русском, другое на чешском языке. Я выбрал эти языки именно потому, что в славянских языках, при том, что они унаследовали много общих черт и обнаруживают сходство во многих отношениях, совершенно по-разному используется ударение:

русский: баба косит поле¹⁵

чешский: baba kosi pole

В каждом слове этой фразы ударение падает как в русском, так в чешском на первый слог, и может показаться, что роль ударения в обоих языках одна и та же. Однако это не так! ...В русском языке ударение свободное... Следовательно при помощи ударения можно *различать* слова с разным значением. Последовательность звуков «мУка», означает «страдание», когда ударение падает на первый слог, «муКА» - «пищевой продукт», когда ударение падает на второй слог. И если в русской фразе мы вместо «баба кОсит» скажем «баба косИт», то мы получим совсем другое значение.

Что касается чешского, то там ударение всегда падает на первый слог, и, следовательно, при помощи ударения *нельзя дифференцировать* значения слов. Оно не имеет *смыслоразличительной* функции... Выше мы перечислили несколько функций звуковых элементов в языке. Но какая из них является наиболее существенной с точки зрения языка? Без какой язык вообще не может обойтись?...Именно *смыслоразличительная* функция, именно способность звуков *дифференцировать* значения слов является для нас наиболее существенной. ...

Если мы сравним французские слова «dé» (игральная кость) и «dais» (свод), то мы увидим, что различие между двумя звуками – закрытым «е» и открытым «е» - используется здесь для *различения* этих слов. ...Во французском эта пара выполняет *смыслоразличительную* функцию, в русском – нет.

Звуки, наделенные *различительной* значимостью, звуки, при помощи которых можно дифференцировать значения слов, получили в науке о языке специальное название. Их называют *фонемами*. ...и русскому и чеху даже трудно *заметить это различие* в таких парах, как dais (свод) и dé (игральная кость), lait (молоко) и lé (полотнище). Это объясняется тем, что в рассматриваемых славянских языках *разница* между данными гласными не может быть использована для *различения* значений слов» (стр.43-45)

«Итак, нескольких несложных примеров достаточно, чтобы показать принципиальную разницу между чисто фонетическим подходом и так называемым фонологическим подходом. Фонетика занимается составлением инвентаря звуков, которые рассматриваются ею как явления физические и двигательные (артикуляционные). Фонология прежде всего ставит вопрос о языковой значимости звуков, выявляет фонемы, то есть описывает систему звуков с точки зрения их способности *различать* значения слов.

«Идея фонемы, представление о *различительном* звуке, или, точнее, представление о том, что *различительно* в звуке, появилась в лингвистике давно. Здесь основная заслуга принадлежит Бодуэну де Куртене...» (стр. 45)

«С самого начала он правильно оценил важность *дифференциального* фактора, показал *различительную* сущность звука...для того чтобы как-то узаконить само понятие фонемы, он был вынужден давать ответы на весьма коварные вопросы: где локализуется фонема? В какой пласт действительности уходит она корнями? Ученый полагал, что справится с этими вопросами, если он поместит понятие фонемы, понятие чисто функциональное, чисто лингвистическое, в мир наших *мысленных (проблема ментализма – М.А.)* образов...

¹⁵ Восстанавливаю написание на кириллице.

...Щерба рассматривал способность фонемы различать слова как ее наиболее существенное свойство, но в то же время настаивал на психологическом критерии в ее определении. ...Вместо того, чтобы отождествить фонему с функциональным аспектом звука, а звук рассматривать как материальный субстрат фонемы, он противопоставляет звук фонеме, как объективный факт действительности психическому, субъективному факту. Такой подход был ошибочным. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о существовании *внутренней речи*, не имеющей внешних, объективных проявлений.

Мы разговариваем сами с собой (**или читаем про себя – М.А.**), и при этом не издаем и не воспринимаем никаких звуков. ...И если русский произносит про себя слова «мел» и «мель»,...то в первом из них встретится акустический и артикуляционный образ открытого *e*, а во втором – образ закрытого *e* (**то есть и тот, и другой образ в данный момент есть ментальный, психический, субъективный факт – М.А.**). Следовательно, единство фонемы по отношению к многообразию звуков (например, единство фонемы /e/ по отношению к двум ее (**фонетическим – М.А.**) вариантам – открытому *e* и закрытому *e*, не может быть интерпретировано как единство психического образа по отношению к многообразию произнесений.

Что же все-таки имеется в виду под единством фонемы /e/ в русском языке? Здесь имеется в виду то, что *разница* между открытым *e* и закрытым *e* никак **не** используется в системе семантических средств этого языка. Признак, который позволяет различать слова, это средний подъем /e/ (как в закрытом, так в открытом варианте), так как (**именно он – М.А.**) противопоставлен верхнему подъему /i/ (мил) и нижнему подъему /a/ (мял). (**Но во французском языке, напоминая пример Якобсона, различие между открытым *e* и закрытым *e*, это именно различие фонем – М.А.**).

Следующий раздел имеет особое значение в обсуждении феноменологической стратегии, категории сознания и понятий различения и различия как коррелятивных сознанию.

«Только путем анализа *функционирования* звуков в языке можно построить систему фонем для данного языка. Щерба и еще ряд учеников Бодуэна де Куртене предпочли воспользоваться другим методом – методом *психологического самонаблюдения*. Они ввели понятие *языкового сознания* говорящего. В их концепции фонема определяется как акустико-двигательное представление, которое может быть выделено языковым сознанием говорящего. Нельзя не согласиться с тем, что различительные элементы языка гораздо четче очерчены в нашем сознании, чем те, которые не имеют различительной функции. **Но первичным в этой ситуации является именно факт различительной значимости того, или иного элемента, а его присутствие в нашем сознании – лишь результат этой значимости».**

Последний выделенный мной вывод Якобсона является решающим в контексте обсуждаемой проблематики.

«Поэтому было бы логично использовать в качестве основного критерия анализа этого явления именно *первичный* фактор, то есть *различительную способность* рассматриваемых элементов, а не *вторичный* - наше более, или менее *осознанное* отношение к ним. Второй критерий уводит нас из области лингвистики в область психологии¹⁶. Но самое большое его неудобство заключается в том, что когда речь идет обо всем, что связано с языком и его элементами, обычно очень трудно установить границу между сознательным и бессознательным.

В общем случае язык для нас является не самоцелью, а средством, и, как правило, языковые элементы остаются ниже порога нашей осознанной цели. ... язык функционирует, сам того не ведая. И даже если человеку без специальной подготовки и удастся выделить некоторые функциональные языковые единицы, фонемы, или грамматические категории, он не сможет установить, какими законами регулируются отношения между ними, то есть не сможет построить

¹⁶ Или феноменологии.

систему грамматических категорий или фонем. Показательно, что Шерба, положив в основу своего учения о фонеме *сознание* говорящего, был вынужден отказаться от какой бы то ни было *классификации* этих единиц.» (стр.50-51).

«...не следует путать два типа звуковых *различий*: *различия* первого типа используются в языке для передачи лексических и грамматических *значений*¹⁷, *различия* второго типа не выполняют этой функции. ...Французская лингвистика осознала всю важность понятия фонемы в начале XX века. ...Соссюр утверждает, что для слова важны не звуки сами по себе, а *звуковые различия*, которые позволяют нам *отличить* это слово от всех остальных слов в языке, поскольку именно эти *различия* наделены *значением*. В «Курсе» мы находим формулировку, ставшую впоследствии знаменитой: «*Фонемы – это прежде всего оппозитивные, относительные и отрицательные сущности*». Но Соссюр на этом не останавливается, он утверждает, что система четко дифференцированных фонем, *фонологическая система*, как он ее называет, является единственным реальным объектом, интересующим лингвиста в области звучащей речи.» (стр.50-51)

«Наследие «психофонетики», пусть в скрытой форме, но еще живо, и признавая, что фонема – это языковое явление, определяемое своей языковой функцией, мы с упорством продолжаем задавать все тот же наивный вопрос: так где же все-таки локализуется это языковое явление? Мы продолжаем разыскивать эквиваленты фонем *в сознании* говорящего. Как ни странно, лингвисты, занимающиеся изучением фонемы, больше всего любят подискутировать на тему о способе ее существования. Они, таким образом, бьются над вопросом, ответ на который, естественно, выходит за рамки лингвистики.

Онтологическая проблема, состоящая в том, чтобы определить, какой реальный объект соответствует понятию фонемы, *никоим образом не является специфической для фонемы.*» (стр.57)

«За немногими исключениями, дискуссия лингвистов по поводу сущности фонемы являлась простым повторением философских дебатов номиналистов и реалистов, сторонников психологизма и сторонников антипсихологизма, и т.п.; кроме того, эта дискуссия велась явно недостаточными средствами. Так, нет никакой необходимости возобновлять обсуждение вопроса о правомерности психологического истолкования фонемы после знаменитой кампании феноменолога Гуссерля и его сторонников против применения к теории значимостей устаревших психологических методов»

Здесь Якобсон видит Гуссерля и его стратегию в 1 т. «Логических исследований» как союзников на данном этапе обсуждения.

«Шмитт считал, что можно опровергнуть факт существования фонемы следующими аргументами: 1. в большинстве случаев внимание собеседников не фиксируется на фонемах, 2. чаще всего вырванная из своего окружения фонема не выполняет своей функции. Автор ссылается при этом на данные психологии, не подозревая о том, что именно силами этой науки было доказано, что существует множество сущностей, функционирование которых не обязательно является объектом нашего внимания, более того, мы не в состоянии отделить их от определяющего их контекста.

Шмитт полагал, что для говорящего минимальной языковой единицей является *слово*. Но такое положение вещей относится на самом деле, к области *явной патологии речи*. Слово является минимальной единицей языка для человека, страдающего особым *видом афазии*, известной под названием атактической. Такие больные прекрасно владеют бытовой лексикой, они еще в состоянии безупречно произносить привычные слова, но они не могут употреблять в речи входящие в них фонемы и слоги. ...

Они могут сказать kafe (“кофе”), но если попросить их произнести feka или fake, они не смогут этого сделать. В отличие от таких больных...нормальный говорящий не воспринимает слово как нечто окаменелое, неделимое, употребляемое им в совершенно автоматическом режиме.

¹⁷ И это то, что нам обще с животным миром, в котором используются сигнальные коды, включая такой сложный как «язык пчел»

Именно поэтому нормальный человек – если бы он, например, участвовал в создании тайного языкового кода – вполне мог бы заменить слово cabaret “кабаре” на bagéca, les princes “принцы” – на linspré и т.д.; по той же причине он может понимать или даже сам придумывать «перевертыши» (англ. spoonerisms), то есть игру слов...Как мы уже говорили в предыдущей лекции, г и l для француза – разные фонемы, в то время как для корейца это всего лишь позиционные варианты (**звучания –М.А.**) одной фонемы. Этой (**для корейцев - одной – М.А.**) фонеме соответствует г в начале и l в конце слога. Louez les rois “Хвалите королей” – gouez les lois “Колесуйте законы”: путем перестановки плавных звуков мы получили «перевертыш» с заменой г и l, но для корейского восприятия...здесь нет изменения смысла, это просто неправильное (**неточное с фонетической, но не с фонологической точки зрения – М.А.**) произношение.» (стр.58-59)

«Приведем еще один аргумент в пользу относительной автономности фонемы, который в то же самое время опровергает мнение о том, что слово является минимальной единицей в языке. ...даже когда речь идет о *незнакомом* слове, фонемы, из которых оно состоит, позволяют нам найти для него *возможное место* в языке и установить *различия* между словами, то есть различия между их значениями.

А теперь попробуем задаться вопросом, который очень часто обходили вниманием, вопросом о «специфичности» фонемы. *Чем фонема отличается от всех остальных языковых значимостей?* Мы сразу можем убедиться в том, что фонема занимает **совершенно особое место среди языковых значимостей и вообще любых значимостей в любой знаковой системе**. Каждая фраза, каждое предложение, каждая группа слов, каждое слово и каждая морфема имеет свое собственное значение. (стр.60)

«Слова, так же, как и морфемы, такие, как корень или аффикс, *замещают* некоторое концептуальное содержание; они являются, если так можно выразиться, его представителями. «Слово, - говорит Соссюр,- можно обменять на объект другой природы: *на идею*». Звуковые средства, ограничивающие и членящие предложение, можно обменять на внутренние членения цепочки понятий, экспрессивные звуковые средства – на выраженные ими эмоции. Но что же в таком случае соответствует фонеме?»

Означающее: звуковое свойство; означаемое? **Фонема (и ее составляющие, которые мы будем анализировать ниже) отличаются от всех остальных языковых значимостей тем, что ей не соответствует постоянное значение**. Морфема или даже целое слово может состоять из одной фонемы. Так во французском назальная фонема *a* функционирует как окончание причастия настоящего времени, или как самостоятельное существительное (ap “год”).

Но та же назальная фонема *a* в таких словах, как entrer “войти”, vent “ветер”, vente “продажа”, sang “кровь”, cancan “канкан”, *не имеет* постоянного смыслового эквивалента, в то время как вопросительная интонация *всегда* указывает на факт вопроса, удлинение гласных в русском *всегда* выражает эмоциональную окрашенность, а немецкий кнаклаут перед гласными *всегда* указывает на начало слова. Но языковая значимость назальной фонемы *a* во французском, так же как и любой другой фонемы в любом другом языке, *сводится к тому, что с ее помощью можно отличить слово, которое содержит эту фонему, от другого слова, сходного с ним во всем, кроме того, что вместо этой фонемы в него входит другая*.

Определение схоластов aliquid stat pro aliquo остается в силе для любого знака, для каждой из его составных частей. Мы видели, что все грамматические и лексические элементы языка отвечают этой формулировке, так же как и все звуковые средства, характеризующие фразу в целом, и все средства языковой экспрессии. Каждому из этих элементов соответствует в языковой системе четко очерченная и постоянная значимость. Звуковой форме каждого из этих элементов соответствует свое особое содержание. Но какое содержание соответствует звуковой форме фонемы?

Различие в значении, различие тонкое и постоянное, соответствует различию между двумя морфемами. Разница, существующая между вопросом и ответом, соответствует различию между двумя интонационными рисунками во фразе, но что же соответствует различию между двумя фонемами? **Различие между двумя фонемами соответствует только сам факт различия значений, тогда как содержание этих значений меняется от слова к слову**.

... в нашем случае речь идет об «условных» означающих, предназначенных ad significandum, но которые сами по себе ничего не значат. И дело именно в том, что в этом отношении фонема занимает совершенно особое место в системе языка (да и вообще в мире знаков). Именно этот факт является решающим для понимания сущности фонемы. (стр.63)

И именно этот отмеченный Jakobsonом факт является решающим в обсуждении проблемы корреляции категории различия и категории сознания, понимаемого в феноменологическом ключе.

«...Непосредственному, собственному, позитивному смыслу всех остальных элементов (языка) фонема противопоставляет чисто дифференциальную и, следовательно, чисто отрицательную значимость¹⁸. И пока не была правильно оценена важность этого различия, при анализе фонемы возникали разнообразные трудности, и исследователи не могли довести его до конца.

...Фонемы, в соответствии с «Курсом» Ф. де Соссюра, - прежде всего оппозитивные, относительные и отрицательные сущности. Грамматические категории – тоже оппозитивные и относительные, только они не отрицательны. Вот в чем заключается незамеченное Соссюром различие. (стр.64)

Показательным является тот факт, что фонема, эта основа основ системы языка, в корне отличается от всех остальных элементов языковой системы. Не менее характерен и тот факт, что в других знаковых системах мы не находим сущностей, которые могли бы служить ее аналогом. В этом отношении нет сходных сущностей ни в письменности, ни в языке жестов, ни в языке научных формул, ни в геральдической символике, ни в знаковой системе изящных искусств, ни в языке обрядов¹⁹.

Карл Бюлер попытался провести аналогию между фонемами и другими видами знаков, такими как почтовая марка или клеймо, но такое сопоставление носит чисто поверхностный характер. ...Только фонема является дифференциальным знаком в чистом виде, знаком пустым, лишенным какого бы то ни было значения. Содержание фонемы с точки зрения языка, или если подходить к этому вопросу с более общих позиций, ее семиотическое содержание, сводится к различию между этой фонемой и остальными фонемами данной системы. ... Именно к этой «инаковости» (= **негативности, отрицательности – М.А.**), если воспользоваться философским термином, сводится значимость фонемы...(стр.65)

Таким образом, язык как таковой отличается от других знаковых систем самим принципом своей организации. **Язык – это единственная в своем роде система, элементы которой, являясь означающими вместе с тем полностью лишены значения.**

Итак, именно фонема является характерной единицей языка. **Философская терминология часто трактует различные знаковые системы просто как языки, а естественный язык – как язык слов. Быть может, было бы уместнее, для большей четкости, определить естественный язык, как язык фонем.**

Этот язык фонем является самой важной из знаковых систем...и можно задаться вопросом, не является ли это **привилегированное положение языка фонем прямым следствием того особого парадоксального свойства его элементов, которое сводится к тому, что они, обозначая, вместе с тем полностью лишены значения** (стр. 65-66).

¹⁸ К фундаментальной «проблеме негативности».

¹⁹ В терминологии московско-тартуской семиотической школы, это все «вторичные моделирующие системы».

Здесь возникает принципиальная, ключевая для нашего исследования проблема: возможно ли, и если да, то как структурно описать предполагаемую мной прямую связь между фонематичностью языка с его автореферентной (метаязыковой) функцией, которая столь же уникальна и специфична. Эту проблему еще только предстоит решить. Исследовательская интуиция подсказывает мне, что связь эта не только имеет место, но лежит на поверхности, и определяет специфику всей проблематики антропологии абсурда.

Фонемы (**как и другие знаки языка в этом отношении – М.А.**) также являются двусторонними сущностями, но специфика их заключается в том, что противопоставляя две разные фонемы, мы имеем дело только с одним конкретным и постоянным различием. Это различие затрагивает означающее, тогда как разница в плане означаемого сводится *просто к способности этих фонем различать значения слов*. Таким образом, речь идет о *неопределенном множестве конкретных различий*.(стр.67)

... В отличие от морфем, различие между двумя фонемами *не затрагивает области положительного содержания*, и оппозиция в этом случае касается только означающего. ...

Таким образом, специфическим для каждой конкретной пары фонем является *только* противопоставление их *означающих*. *Только* этими оппозициями определяется место *различных* фонем в фонологической системе данного языка. Исходя из этого, в основу классификации фонем может быть положено *только означающее*. Опыт показывает, что если означающее связано с положительным, постоянным и гомогенным означаемым, то между ними может возникнуть очень прочная, можно даже сказать, неразрывная связь, и *если* такое постоянное соотношение действительно имеет место, то *означающее можно очень легко распознать*.

На множестве самых разных опытов было доказано, что собаки способны воспринимать и узнавать самые тонкие акустические сигналы. Биологи школы Павлова доказали, что если перед подачей пищи подавать собаке один и тот же звуковой сигнал, то собака сможет правильно воспринимать значение этого сигнала и *отличать его от всех других, даже очень близких по звучанию сигналов*.

Если верить итальянским исследователям, то даже рыбы обладают такой способностью. ...Они узнают сигналы по их значениям, и только благодаря наличию такового, благодаря механическому и постоянному объединению означающего и означаемого. Все остальные сигналы не вызывают у них никакой реакции (стр.68-69)

Это значит, что указанное «механическое и постоянное объединение означающего и означаемого» в сигналах, используемых в живой природе, является именно тем коммуникативным состоянием, которое пытается бессознательно «реставрировать» миф (в том структурном и узком интралингвистическом смысле, который мы ввели выше) в своей интенции к отождествлению и медиации любых знаковых оппозиций.

По данным экспериментальной психологии мы прекрасно можем справиться с самыми разнообразными слуховыми впечатлениями, даже если они неупорядочены и трудны для восприятия. Мы в состоянии различать и опознавать их, но только при одном условии, что для нас они самым тесным и непосредственным образом соотнесены с определенными значениями, и, следовательно, функционируют как простые сигналы. ...

Но, как мы уже отмечали, сами по себе фонемы не имеют собственного значения, и в то же время на слух *различия между разными фонемами одного языка* бывают настолько тонкими и незначительными, что их трудно уловить даже при помощи самых чувствительных приборов. Сейчас специалисты в области акустики с беспокойством задаются вопросом о том, каким образом человеческое ухо различает такое многообразие звуков речи, при том, что они порой так мало отличаются друг от друга. Но идет ли речь в данном случае только о *возможностях человеческого уха? Нет, ни в коем случае!*

В звучащей речи мы распознаем не столько различия между звуками как таковыми, сколько различия в их употреблении в рамках данного языка, то есть различия, не имеющие собственного значения, но используемые для того, чтобы *отличать* друг от друга сущности более высокого уровня (морфемы, слова). Коль скоро данное, пусть даже минимальное звуковое *различие* играет *смыслоразличительную* роль в том, или ином языке, оно всегда будет точно воспринято всеми носителями языка без исключения, тогда как для иностранцев, пусть даже квалифицированных наблюдателей или просто профессиональных лингвистов (**вроде профессора Хиггинса** в «Пигмалионе» Р.Шоу – М.А.), улавливание таких *различий* часто сопряжено с большими трудностями, поскольку в их родном языке эти *различия* не несут *смыслоразличительной* функции.

В качестве иллюстрации этого положения можно привести множество примеров. Так *различие* между твердыми и мягкими согласными в русском языке является значимым, несет смыслоразличительную нагрузку. Оно используется для *различения* слов. ...

В трехлетнем возрасте ребенок, для которого русский язык является родным, прекрасно улавливает это *различие* и использует его в своей речи. Для русских оно столь же очевидно, как *различие* между огубленной и неогубленной гласной, например различие между *ö* и *e* для француза. Но *различие* между твердой и мягкой согласной, столь бесспорное и явное для русских, *практически неуловимо для чехов, шведов, или французов*, в чем я много раз имел возможность удостовериться сам. (стр.70)

Русский различает слова “ударь” с мягким г, и “удар” с твердым г. Иностранец, не имеющий в активе противопоставления твердых и мягких согласных, улавливает эту разницу с большим трудом, хотя *русский не прикладывает при этом никаких усилий. Разумеется, было бы совершенно неправильным заключить из этого, что у русских со слухом дело обстоит лучше!*»

Далее Якобсон переходит к еще более глубокому уровню «бессознательно» «автоматически» действующих, но при желании осознаваемых, и при исследовании классифицируемых различительных единиц языка – к «дифференциальным признакам» фонем, или «меризмам» по терминологии Бенвениста.

Фонема оказывается и не элементарным, и не линейным образованием, как полагал Соссюр, а единицей двумерной, расположенной и на вертикальной, и на горизонтальной оси координат. Фонема является пучком, «аккордом» дифференциальных признаков. Другими словами фонема сопоставима не с элементарными частицами, а, скорее, с атомом, имеющим выраженную структуру ядра и оболочек.

Элементарными частицами языка - «электронами» оказываются именно меризмы, дифференциальные признаки, благодаря которым каждый естественный язык имеет строго ограниченный набор фонем.

Из всего вышеизложенного следует неизбежный и строгий вывод. *Благодаря фонологии и исключительно только ей* человек впервые полностью осознал, что он пользуется языком как различением и чем, он, собственно говоря, пользуется. Существует некий базовый сознательно-бессознательный **опыт языка**, опыт фонематической и «меризматической» различительной речи.

Этот опыт, который есть конститутивный и конституирующий человеческий опыт, необходимо соотнести с молчановским, а, следовательно, с «трансцендентальным» представлением о сознании как об опыте различения, или различения различений.

То, что кажется таким привычным и «простым» - родной язык, является, может быть, самым сложным, неуловимым и парадоксальным из того, с чем приходится сталкиваться человеку. Причем сталкиваться ежесекундно на протяжении всей жизни. И это есть ни что иное, как парадоксальный опыт первичного и чисто человеческого, не имеющего аналогов в животном мире **«бессознательного сознания» или «сознающего бессознательного» - языка**. Это опыт «автоматического» различения и различения различий.

Человек пользуется фонемами настолько автоматически и бессознательно, что даже в лингвистике, специально занимающейся звуковым строем языка, должны были пройти сотни лет, и нужна была «фонологическая революция», чтобы даже просто корректно сформулировать само понятие *фонемы как различающей значения единицы, которая сама принципиально не имеет позитивного значения. Если бы фонема его имела, она просто не смогла бы выполнить свои функции, и человеческого языка не существовало.*

Но важнейшая особенность заключается в том, что человек при этом «автоматизме» вполне свободно «играет» (и в буквальном, и в переносном смысле) в рамках родного языка фонемами и может легко манипулировать меризмами, что ясно показано Якобсоном. Неспособность к «игре» фонемами или дифференциальными признаками является симптомом той или иной формы болезни речи – афазии.

Это значит, что человек обладает **перманентным «автоматическим» «бессознательным» языковым опытом различия и различения различий**. И очень важно, что этот опыт легко деавтоматизируется. Но ЧТО именно деавтоматизируется, и КАК такой автоматизм и такая деавтоматизация возможны, смогла продемонстрировать только структурная лингвистика XX века.

Интроспекции и трансцендентальной феноменологической интуиции, которая базируется на аксиоме очевидности, для обнаружения этого слоя опыта принципиально недостаточно, он для феноменологического усмотрения закрыт.

В.Молчанов довел феноменологически анализ до предела, сформулировав чистую феноменологию опыта различения. Но на этом компетенция феноменологии полностью заканчивается. Она не только не в состоянии обнаружить и описать бессознательно-различительный слой языка, но почти не в состоянии отдать себе отчет *в самом наличии фундаментального фонематико-меризматического опыта различения – фундаментального опыта языка*. Но именно этот опыт СПЕЦИФИЧЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА.

Все живое пользуется знаками и системами знаков (язык пчел, например). *Но только человек пользуется знаками, которые сами по себе никогда не несут никакого значения, с тем, чтобы только и исключительно различать значения. Это и есть первичный опыт различения и различения различий, опыт фундаментального сознания, который, к счастью, или к несчастью, является чистой прерогативой человека.*

Наша сильная гипотеза состоит в следующем: способность человеческого языка к самореферентности, использование личных местоимений, возможность бесконечных иерархических метаязыковых построений («mise en abîme»), и следующая из этого способность конституировать языком временные различия (через автореферентность временных дейксисов) а, следовательно, сама историчность человека, а затем уже и способность к философской рефлексии вообще, и к феноменологической рефлексии в частности, связана прямым образом с этой парадоксальной особенностью первичных языковых различительных единиц.

На стр. 11 в Примечание 2, при разговоре об эссе Деррида Différance Молчанов пишет:

«...в дальнейшем я неоднократно обращался к этой работе, тщетно пытаюсь отделить дескрипцию опыта от экспериментирования со знаками... Тем не менее, скептическое отношение к попыткам постановки проблем путем перестановки букв и т.п., ...чего не избежал и Хайдеггер, не мешает мне отдавать должное этим эвристически ценным попыткам тематизировать различение».

Вне зависимости как относится к работе и вообще к тактике Деррида, сам риторический прием в тексте Молчанова : «тщетно пытаюсь отделить... чего не избежал... не мешает мне отдавать должное..» показывает некоторое пренебрежительное отношение к тем операциям со знаками (в том числе к перестановкам), которые, как мы видели у Якобсона, текст которого трудно заподозрить в постмодернистской игре, обнажают, экспериментально демонстрируют саму природу и специфику языкового различения.

Способность человека *играть перестановками фонем и графем свидетельствует о здоровом владении речью и языком*, в то время как неспособность это делать есть симптом афазии. А нежелание это делать – симптом афазии произвольной.

Кроме того, сама способность языка к такой игре, как правильно заметил Молчанов, обнажает и тематизирует различительную языковую структуру.

Но явное или неявное неодобрение как Молчанова, так и других философов по отношению к такой игре обнажает скрытую, чуть с некоторым налетом философского ханжества «афатичность» .

Тема афазии («безмолвия») как тема фундаментальная (отнюдь не узко медицинская) одна из центральных в теории лингвистической катастрофы. Большой афатик против своей воли, произвольно, теряет способность к комбинированию (игре) меризмами, фонемами и морфемами.

Но вполне «здоровая» и произвольная деятельность человека по игнорированию такой игры, попытки «остановить» и наложить запрет на такое комбинирование (игру) также является формой афазии, то есть, в конечном счете, сознательно культивируемой «болезнью речи». «Бегство в болезнь» (бегство в афатическое безмолвие) здесь эквивалентно «бегству от свободы».

Феноменология там, где она игнорирует специфику собственно речевого, языкового различения - тоже есть тип «афазии», как и любая «деформация» (термин Молчанова), или,

(пользуясь хайдеггеровским словом) «забвение» различения, то есть - речи-как-различения. И тема «безмолвия различения», здесь отнюдь не случайна, она обнажает то, что хочет «забыть» Молчанов. И это выражено также в следующем высказывании:

«...Однако гораздо большее влияние оказали на мою дальнейшую работу труды других авторов...книга Дж. Спенсера Брауна *Законы формы (The laws of form. London, 1969)*, где различие предстает как *конститутивное свойство мира*».

Этот пассаж о книге Спенсера Брауна свидетельствует, что стратегия на «космологизацию», и тем самым «деантропологизацию», «делингвизацию», «обезмолвливание» различения имеет для Молчанова программное значение, с чем мы столкнемся и далее.

Стр. 12. «Разумеется, сознание не рассматривается и как нечто непостижимое. Сознание рассматривается как сочетание и столкновение различных видов *опыта и его деформаций*. Сознание как *опыт* претерпевает *агрессию со стороны конструкций, понятий, фантазий, воспоминаний, прожектов и т.д. и т.п., вытесняющих опыт, деформирующих опыт и заменяющих его*. Учения о сознании, различные концепции сознания в той или иной степени отражают это давление и вытеснение.

«...Критерий истины при различении неагрессивного опыта и его деформаций – неагрессивная дескрипция. Граница дескриптивного и недескриптивного является одной из важнейших границ как самого опыта, так и его исследования.»

В контексте уже сказанного, «неагрессивная дескрипция» не может оставаться в рамках трансцендентального, или, даже, если угодно, «посттрансцендентального» молчановского феноменологического проекта.

Если аналитическая дескрипция хочет остаться честной, она должна перешагнуть через саму себя, преодолеть трансцендентализм и стать лингвистической дескрипцией, как бы дико это не звучало для феноменологического уха.

Понимание сознания как чистого «онтологического» «мирового» опыта различия приводит к базовой теоретической интерпретации, конструкции, к *концепции чистого различия как неагрессивного безмолвия (афазии) бытия*.

По отношению (то есть – *релятивно, а не абсолютно*) к первичному конститутивно-антропологическому опыту речи как опыту, порождающему специфически человеческий (то есть *релятивно, а не абсолютно*) «первичный» тип различия и различения, такая «неагрессивная дескрипция» как раз будет «интерпретативной», «агрессивной» и «деформирующей».

Другими словами, Молчанов незаметно сам осуществляет «грехопадение в тождество», когда помечает и хочет описывать различие как онтологическое свойство, не как специфически человеческий опыт, но как безмолвный опыт Мира. И происходит это именно потому, что им принципиально игнорируется первичный человеческий опыт языка, то есть опыт человеческого различения *par excellence*.

Вопрос заключается в том, *зачем* опытно-аналитически ориентированному философу эта неясная для него самого интерпретация? Мое предположение заключается в том, что за тем же,

зачем Гуссерлю «необходима» презумпция тождества, деформирующая его аналитическую стратегию. Это «грехопадение в тождество» отвечает некоей фундаментальной антропологической потребности, без анализа которой невозможно понять человеческое сознание вообще, и то, почему

Молчанов соскальзывает в тождественное безмолвие (афазию) в частности. Идея безмолвного различия Молчанова, как и презумпция тождества Гуссерля- это **«трансцендентальная афазия», болезнь различения как речи, и одновременно - анестезирующая «склейка» некоего фундаментального разрыва.**

Схема Молчанова двучленна:

1. первичный опыт различения неагрессивен, природен, поддается дескрипции и аналитичен.

2. синтез и идентификация вторичны, деформируют опыт различия, они агрессивны и интерпретативны.

Но эта схема при всей своей очевидной ясности недостаточна, чтобы ответить на главный вопрос: зачем вообще сознанию так необходимо деформировать свой собственный первичный опыт различия в сторону тождества, если он так хорош и неагрессивен?

Почему сознание (или человек, как его носитель) так болезненно стремится к синтезу и тождеству? Откуда из первичного неагрессивного опыта рождается «аномалия» агрессивности?

Ситуация, вероятно, на порядок сложнее, и нуждается, по крайней мере, в трехчленной схеме:

1. первичное «природное» различение – несамореферентный и досознательный, «безмолвный» (это не значит что незвуковой, наоборот, акустически богатый) опыт различия, общий человеку и миру. В рамках этого различения знаки являются чистыми сигналами, в которых означающее жестко и навсегда связано с означаемым.

2. «различение различий» - самореферентный человеческий опыт лингвистического различия. Уровень собственно **лингвистической катастрофы, то есть вхождения фонематического «чистого» различия, когда появляются такие парадоксальные знаки, в которых различие означающих не является одновременно различием означаемых, но только служат различению смысла на более высоких языковых уровнях.**

По отношению к первичному «связанному» природному различию, на его «фоне» это *первичная агрессивность*. Самореферентность различия, порожденное человеческой речью, вносит *разрыв* в первичное различительное природное отношение. Человеческое языковое сознание образует лингвистическую «трещину» между собой и природным различием.

На фоне этого «расщепления» природное различие предстает как первичное тождество, «потерянный рай». Именно эта трещина в большинстве мировых культур, от первичных архаических до развитых «осевых», описывалась, и, что важнее, ОЩУЩАЛАСЬ как «грехопадение в различие»²⁰, в двоичность (бинарность), в Чет.

3. синтез, идентификация, тождество – вторичная, направленная на первичную, агрессивность, то, что Молчанов называет «грехопадением в тождество». Это попытка избавиться от самореферентности, уничтожить, или ослабить разрыв, «склеить» трещину, деформировать деформацию, «игнорировать», «забыть» фундаментальную фонематичность языка, повернуть опыт сознания «обратно», в сторону природного «сигнального» несамореферентного различия.

Эта вторичная «агрессивность» уже не ощущается как агрессивность, но может интерпретироваться, и, что важнее - **ОЩУЩАТЬСЯ как необходимое лекарство («фармакон»), как анестезия, как восстановление («апокатастасис»), реставрация, ремонт потерянного природного «тождества» (нерзаличения) означающего и означаемого, как благо обретенного единства, как медиация двоичности, как Нечет, как Миф.**

Таким образом, в структуре сознания обнаруживается два релятивных, взаимосвязанных и противоположенных типа «агрессии». Первая «агрессия» осуществляется специфическим человеческим опытом различения различий, человеческим опытом речевого сознания по отношению к природному первичному опыту различия.

Последний, как уже было сказано, *на фоне* самореферентного, рефлексивного, лингвистического опыта предстает как вожделенное тождество, как «потерянный рай», как «неагрессивное сознание», как «сладкое безмолвие мира».

По отношению к природному различию человеческое различие, как в структурном, так и в генетическом плане, оказывается особенностью, разрывом непрерывности, катастрофой, пользуясь сразу и математической, и житейской метафорой.

Синтез-идентификация и все то, что деформирует человеческий опыт различия в сторону тождества, пытается *восстановить, реставрировать первичную структуру природного мирового опыта в человеке, устранив чистое различие и самореферентность языка.*

И один из способов это делать – это *игнорировать* язык как специфический опыт, порождающий различие различий. Этот способ древен как сам язык. Это то, что я назову **архе-забвением.**

²⁰ Напомним, никто иной, как Гегель в «Феноменологии духа» провел прямую аналогию между ветхозаветным мифом о грехопадении и рождении сознания, как различения (противоположностей).

И это архе-забвение не есть то, что человек осуществляет сознательно. Но и не то, что он осуществляет целиком бессознательно. Это такая же парадоксальная сознательно-бессознательная деятельность, как и сама деятельность языка.

Когда Молчанов называет опыт различения неагрессивным и безмолвным, он неявно от самого себя смещает уровни описания. Опыт различения различий возможен только благодаря уникальной специфике языка – его неустранимой самореферентности и тому, что в его основе лежат уникальные элементы – фонемы и дифференциальные признаки, которые служат функции различения значений и сами при этом полностью лишены значения.

То есть фонемы и меризмы это тот уникальный уровень строения языка, который не только обеспечивает различение всех последующих различий и различений, но и сам является фундаментальным первичным «чистым» различием различия.

Разрыв, конституирующий специфику человеческого сознания, бытия и свободы происходит, судя по всему, именно на этом микроуровне. Этот разрыв есть ни что иное, как фундаментальное расщепление прямой связи означающего и означаемого в самых недрах знака.

Для всех знаков и знаковых систем, без исключения, как в Природе, так и в Культуре характерна прямая связь означающее-означаемое. Только и единственно человеческий «естественный язык» является той уникальной знаковой системой, в основании которой лежит «чистое различие различий», «чистое означающее».

Это означающее, принципиально *оторванное* от означаемого, означающее, которое, никогда не имеет значения - ни прямого, ни переносного, ни индексного, ни иконического, ни символического.

Фонематическое означающее **тем самым** обеспечивает дальнейшее самореферентное означивание и различие, конституирует метаязыковую функцию, конституирует человеческое сознание и рефлекссию, создает эффект «зеркала-в-зеркале», «*mise en abîme*» бесконечное различие различений.

Основная драма человеческого бытия разыгрывается здесь, в рамках этого лингвистического микромира, что делало и делает ее неуловимой для осознания и интроспекции.

Семиотическую структуру «лингвистической катастрофы», то есть особенность фундаментальной человеческой «функции» (пользуясь математической метафорой), можно еще раз описать таким образом:

1. Природный семиозис. Семиозис животного мира строится на знаках, в которых знак и его значение *неразрывно, непрерывно* связаны между собой.

2. Лингвистический семиозис. В таинственный и неизвестный нам момент рождения человеческого языка, начала человеческой истории, происходит собственно «лингвистическая катастрофа» в узком смысле, то есть **катастрофа фонематическая** («грехопадение в различие») - *фундаментальный разрыв* между знаком и значением, разрыв, конституирующий абсурдную специфику человека, его языка и его свободы.

В основание «естественного языка», ложится нечто не имеющее аналогов в мире знаков - «различительный квант» - фонема. Фонема (аккорд дифференциальных признаков) является знаком принципиально *негативным, отрицательным, чистой «инаковостью»* (чистый «теоп»), знаком, абсолютно лишенным значения, чистым означающим, служащим только для различения языковых единиц более высокого уровня, наделенных значением.

Система фонем, система «чистых» бинарных оппозиций актуально и потенциально, парадигматически и синтагматически обеспечивает ту особенность человеческого языка, которая потом будет называться *человеческим сознанием*, то есть конституирует самореферентную метаязыковую функцию и структуру.

- 1. Культурный семиозис.** Создание «вторичных» знаковых систем представляет собой попытку (совершенно безнадежную) «склеить» первичный разрыв, лежащий в основании лингвистического семиозиса. Именно здесь происходит то, что Молчанов назвал «грехопадением в тождество».

Здесь разыгрывается лингвистическая катастрофа в широком смысле. Она представляет собой постоянную, перманентную драму между склеивающими механизмами и процедурами (которые представляют собой не что иное, как *миф* и *ритуал* в специальном, узком и структурно строго определенном смысле) и постоянно разрывающими «точки склейки» метаязыковыми, самореферентными рефлексивными построениями (микркатастрофами).

Фонематичность языка обеспечивает существование особого региона языка, постоянно и неявно воспроизводящего первичный разрыв, первичную катастрофу, лежащую в основании любой лингвистической знаковой системы.

Этот универсальный (то есть свойственный всем без исключения человеческим «естественным» языкам) регион языка - не что иное, как: 1. личные местоимения; 2. дейксисы (первичные указатели места и времени «здесь» - «там» и «сейчас» и «тогда»); 3. глагольная система в тех языках, где существуют морфологически выделенные глаголы, и синтаксическая глагольная функция там, где таковые отсутствуют.

В заключение не могу не сказать, что философия (в том числе феноменология), это «четвертый семиозис», та особая (наряду с искусством, но иная) деятельность, которая призвана актуализировать, радикально деавтоматизировать первичную бессознательную самореферентность человеческого языка, делать ее до предела осознанной, развернутой и аналитичной, при этом, не попадая в объятия идеи мирового безмолвия. «Безмолвие» человека

уникально, это «безмолвие» его внутренней речи, глубинное кипение магмы языка, и это отнюдь не сладкое безмолвие мира...